

- 1,8-9

**А вы поспешите
на 16-ю страницу.**

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В самом деле, он говорил Бухарину, уже обреченному на смерть: «Кому ты возражаешь? Партии? Кому ты грозишь голодовкой? Партии?», и тот сиял, не знал, что сказать. Он внушал всем этим жертвам процессов, что их страшные самооговоры в интересах этой удивительной партии, и послушно несли ахинею, возводили на себя черт знает что. Власть слова, лозунга, странная власть общепринятой терминологии оказывалась парализующей.

Уже в пятидесятых годах в журнале «Театр» была напечатана пьеса в стихах Любомира Дмитерко, если не ошибаюсь — «Подснежник». Я запомнил из нее две строки: «Не будем ничего решать, пока Долженко не придет из ЦК». Это двусмысленное понятие «партия», вроде безличное, приобрело всеобъемлющее значение. Писатели, музыканты, ученые именовались «помощники партии». Кто бы осмелился вслух сказать, что это партия должна быть помощником, что появление всякой партии может быть объяснено и оправдано только желанием помочь. Но в ту пору все поменялось местами, все стояло на голове. А о самостоятельном слове даже нельзя было и помыслить.

Запись начала пятидесятых годов. «В Центральном Театре Советской Армии готовятся пьеса о мелиораторах. Драматург Б. со сладким ужасом рассказывает о режиссере Канцэле, который ставит это произведение. «Он какой-то опасный волюнтер, все ходит и громко напевает: «Жить можно без оружия». Сам рассказчик при этом поникает голосом. Удивительное всего, что Б., столь потрясенный отставкой Канцэлы, многократно доказывал свою редкую храбрость, был разведчиком-профессионалом. И это, однако же, сочетается с паникой, вызванной скромной шуткой».

Судьба Бухарина, судьба Каменева и прочих, разделивших их участь, не может не вызывать сочувствия. И все же, все же... Могут понять тех, кто участвовал в этой игре из чувства страха, в бесплодной попытке спасти свою жизнь, не отдавая ее палачам и бандитам. Но эти еретики поневоле, славившие своих инквизиторов, эти фанатики-меченосцы! Все больше к жалости и состраданию примешивается и раздражение — должен же быть предел безумию!

Кьеркегор говорил, что, когда умирает тиран, его власть кончается, а когда умирает мученик, его власть начинается. Он не принял во внимание нашей своеобразной природы — тиран, от которого отреклись, для многих изувеченных душ, для холопских умов становится мучеником.

И все-таки в нынешних сталинистах, которым решительно все известно, при всем желании не увидишь ни искренности, ни ослепления. Тут либо попытка соучастников как-то оправдать свою жизнь, либо расчет в политических играх, либо азарт неутоленных амбиций. Быть может, душевное родство. То, которое сам покойный вождь, по словам академика Тахтаджяна, ощущал, например, с Трофимом Лысенко. В этом темном и всегда ущемленном, мстительно агрессивном высочине Сталин чувствовал родственную душу. (Однажды я видел на телеэкране старую, опухшую женщину, утраченную, что репрессии Сталина были глубоко справедливы — страну терзали вредители и шпионы, ее собственный дядя по заслугам провел в заключении двадцать лет. Все эти пакости комментировал известный историк-обществовед, желавший солидарности объектив-

ность. Он даже сказал, что сталинистка — называл он ее по имени-отчеству — ему симпатична своей убежденностью. Я вспомнил, что несколько лет назад «средства массовой информации» меня знакомили с этой дамой. Она была директором интерната, где безжалостно истязали детей. В каждый свой отпуск эта фурия неутомительно ездила в Горы на родину своего божества. Я все не мог в себе разобратся, кто меня больше задевает — эта яростная старуха или благостный либерал с его мягкой, толерантной улыбкой).

И годы прошли, и люди умерли, развеялись тайны, открылись дела, а старые слова все живут, и власть их по-прежнему ощутима.

Сквозь зубы мы иногда признавали, что несколько отстаем в экономике (последствия разрухи и войн), но что полагалось считать бесспорным — наше духовное превосходство. В самом деле, разве не мы создали общество братства и равенства, а главное — нового человека? Сегодня остается сказать, что самое горькое поражение мы понесли «на своей территории». Похоже, ни в чем мы не преуспели так, как в искажении личности.

При этом все же нельзя не признать, что наше общество, безусловно, породило ни на что не похожую человеческую особь.

Все началось с коллективистской идеи, доведенной, естественно, до абсурда. Вспоминаю свое пионерское детство. Мы воспитывались на книжках и фильмах, внушавших, что наилучшее счастье — сознавать себя «ничем не лучше других». И мы, дети, в самом деле испытывали от этого некую удовлетворенность. «Не лучше других» — считаться таким было, странно сказать, привилегией, ты словно прошел посвящение в рыцарство. Зато не менее тщательно пестовалась и сопутствующая уверенность: «я ничем не хуже других». Так утверждался культ усердия, культа приказа, поэзия подчинения. Она творила свою эстетику — слепая пафоса с «мужественным» немногословием при неумолимом самоотречении. Что и возводилось в ранг доблести. Симонов вывел целую роту таких нерассуждающих мальчишек, всегда готовых послушно следовать руководящей установке не только в военное, но и в мирное время — отличное мирное от военного было, впрочем, невелико. Даже — по количеству жертв.

Все это были те самые люди, приученные с дошкольных лет испытывать радость оттого, что они «ничем не лучше других». Зато и не хуже. Самое главное — быть, как все. Не выделяться. Им даже мысль не западала, что общество, где человек не стремится быть лучше, ярче, незаменимее, общество это обречено. «Служим! Не боги горшки обжигают!» В конце концов этот восторг готовности обрел чисто фарсовое звучание, которого, впрочем, никто не чувствовал. Можно сказать, он и был воплощением истинно массового сознания. При всей несхожести, даже полярности сегодня тотальное политизирование — в сущности, новая ипостась этого стойкого феномена.

Что же он представлял собою, этот новый человек, этот homo sovieticus? Какой непостижимый состав — культ тирана, вполне религиозный, и почти столь же религиозный культ общей посредственности, оптимизм и заключающее в себе трагедию презрение к собственному бытию. Официальный успех Горького был в значительной мере обусловлен не его, несомненно, большим талантом, а этим обесцениением жизни. «Пускай ты умер...» стало девизом.

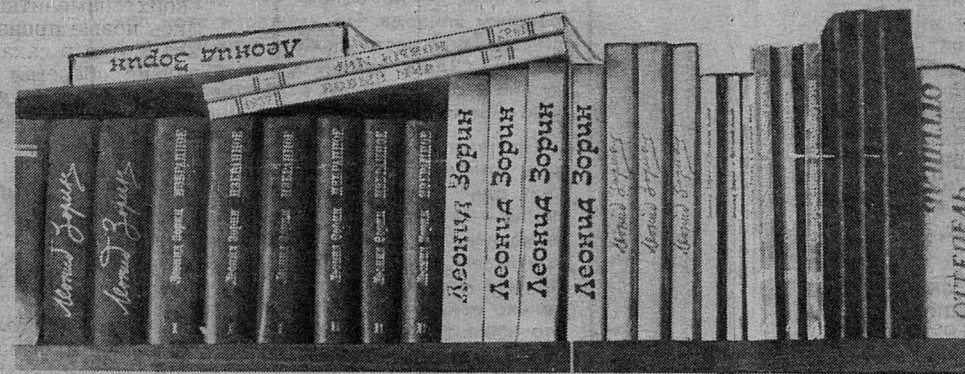
Но историческая ставка на усредненность органически срацивалась с отрицанием маленького человека, заклещенного как обывателя. Мы,



Леонид ЗОРИН

ИЗ «ЗЕЛЕННЫХ ТЕТРАДЕЙ»

Когда ведешь записи регулярно, на протяжении десятилетий, особенно тянет перечитать те из них, что сделаны десять, двадцать и тридцать лет назад. Сопоставление времен питательнее иных трактатов



школьники тридцатых годов, вообще сомневались, что он жил на свете. В общем, мы были убеждены, что в предреволюционные годы Россия практически состояла сплошь из подпольщиков и слуг режима, что их борьба и была ее жизнью. Когда однажды попался мне томик Аверченко, я, отсмеявшись, испытал удивление — оказывается, какие-то люди просто жили, служили, в кого-то влюблялись. Тогда я еще не понимал, что юмористика — наивная лепетность естественной, непринудимой жизни, но только подчёркивающая несоответствие не идеалу, а здравому смыслу. Когда же юмор высокой пробы, он рождает сочувствие к человеку, который честно живет в истории, не пытаясь ее изнасиловать. С того момента, как маленький человек, которого русская литература всегда жалела и защищала, был переключен в мещанина, у него, кроме Зошенко и Платонова, фактически не осталось заступников. Оба были обречены. Но Платонов был не так популярен, не так доступен читателю, мало озвучен, его укрощали без лишнего шума. Зошенко был известен всем. Тем громогласней была расправа.

Какой драматический парадокс — именно Зошенко, певец частной жизни

(сам подчеркивает это в «Голубой книге»), именно он оказался символом конфронтации с государством.

И этой записи много лет. «О, это всевластие запрета, когда нельзя ничего, ничего! Нельзя сказать, что тебе тоскливо, что сердце сжимается от предчувствий, что детские мечты не сбылись. Нельзя сказать о поступки времени, уравнивающим рядовых и маршалов, о беззастенчивости порока. А больше всего тебе нельзя довериться своей собственной мысли, боги ведь, куда она заведет, какие опасные маршруты предложит — бойся мысли, она неуправляема, однажды вырвавшись на свободу, она над тобой приобретает почти сокрушительную власть. Речь не только о политической мысли, больше того, не столько о ней, сколько о той, что летит над временем. И ты загоняешь ее в квадраты, сразу указываешь ей пределы, за которые ей не должно быть ходу. Нельзя. С этим словом надлежит прожить жизнь — на улице и за твоим столом. Нельзя...»

Ныне, во дни многоглаголания, иной раз думаешь, что узда чем-то способствовала художеству. Прямая речь ведет к доктринерству. Помнится, лет с десяток назад, в маленькой повести «Алексей» я рассказывал о

любви героя к диссидентке, которую арестовали почти сразу после первой их ночи — какие усилия пришлось приложить, чтобы одеть эту историю в платье, возможное для демонстрации. Но именно эти ухищрения сообщали моему «Алексею» эстетическое своеобразие. Кое-что, писанное мною впоследствии, кажется мне порою плоским. И все же — нет! Завидую тем, кто начинает в эту пору. Открывается, стигматизирует и, наконец, займется искусством, свободным, смелым, ничем не стесненным. Наша юность была искалечена — ушла на горестные попытки как-то отстоять душу живую, не испокониться, не оскопиться, не стать абсолютным духовным кастрацией. Литературные способности истощены на эзопов язык, на игры с чиновниками всех рангов, на поиски боковых тропинок — только бы увернуться от кривды, от лганы, от желания удача (такого, по сути дела, естественного, но в предложенных условиях гибельного) — многим ли удалось сохранить? Ведная, нелепая молодость! С какой тоской ее озираться. Все дело в том, что десятки лет мы прожили в сумасшедшем доме с его поразительным расстройством — ни о логике, ни о каком-то смысле, нечего было и говорить. И как Чацкий среди безумцев, каждый нормальный человек выглядел душевнобольным.

Тут по-своему замечательна почти искренняя убежденность державы, что человек, не разделяющий ее установ и установок, есть человек, безусловно, ущербный. Чаадаев не был посажен в психушку — это начали делать через сто тридцать лет — но исходная посылка все та же: конечно, здоровый человек не может не думать официально.

Подвижническая судьба писателей сплошь и рядом определялась не их натурами и решениями — лишь эпохой и масштабом таланта. Булгаков не был рожден для жизни мученика, он подчеркивал, что он — мастер. Он и хотел жить жизнью мастера, работника, профессионала. У него был огромный вкус к быту, к повседневности с ее нехитрыми радостями, вкус к веселому, озорному творчеству. Меньше всех он был создан писать для потомков, он жаждал видеть плоды трудов воплощенными, реализованными. Как всякий мастер, он страстно хотел радовать всех своим мастерством. Ничего из этого не получилось. Его время и его дарование обрели на иное, загнали в угол.

И уделенным было несвое. Такая уж выпрошенность и вычерпанность! Помню шестидесятилетие Михаила Светлова. Юбилейный вечер вел Сметлов. С каким-то неясным остервенением, будто гвозди вбивая, он все повторял, что сегодня «мы чувствуем поэта, который за всю свою жизнь не сделал ни одной политической ошибки». И все сидящие понимали, что это — высшая похвала. Сам Светлов за весь вечер не шелохнулся, не произнес ни единого слова.

Конечно же, и среди писателей были удачливые люди. Телешов, например, был счастливым. Думаешь, что свои возможности он оценивал трезво, не ведал зависти, радовался тому, что дружен с Горьким, Бунным, Леонидом Андреевым, Избавил достойную роль «общественника», постоянно что-то организовывал — от своих знаменитых «сред», где читались новые произведения, до встреч и концертов в санатории «Узкое». Тщательно оберегал репутацию, свое основное достоинство, прожил таким моральным арбитром. Его не читали, но уважали. Не чувствовал себя ущемленным, напротив, верил в свою самоценность. С полной искренностью восклицал: «Нет больше счастья, чем быть русским писателем!» Умер старцем, в своей постели, в самой середине двадцатого века.

Бессспорно, Телешову и не снилось быть таким фаворитом фортуны, как наши вельможные литераторы. В его время самым сановным писателям не полагалось льготных условий. Брат царя Константин Романов, президент Академии, безусловно, был весьма одаренным поэтом — его вершина, драма «Парь Иудейский» — нерядовое произведение. Но именно с ним он имел неприятности, ибо духовная цензура не разрешила ее к исполнению. Родство с самодержцем не помогло.

У литераторов недавнего прошлого таких затруднений не возникало. Долгие годы они вели какую-то неральную жизнь. Решительно все было к их услугам — от фантастических тиражей до фантастических миражей, сместивших их восприятие мира и собственного значения в нем. Особенно помутилось сознание у наиболее простодушных. Увенчание лаврами и наградами, истерические восторги адъютантов и припалы — все это не прошло бесследно. К своей привычной канонизации они отнеслись вполне серьезно. Иные из них уже примеряли славную толстовскую блузу и, казалось, лишь ждут красного лета, чтоб пошатать по земле босиком. Уже выучили все слова и понятия, приличествующие их положению, и с мессинской тяжеловесностью и до дела произносили: целомудрие, добродетель, совесть. Ощущая себя не только художниками, но и мыслите-

лями, и проповедниками. Наставниками, духовными пастырями. И с величественным достоинством несли на ватных плечах эту миссию. И вдруг все рухнуло, все исчезло, мираж пропал, и лопнули мифы. Вдруг выяснилось, что существуют и подлинная литература, и настоящее искусство, и мысль — истинная, а не мнимая. Надо было стаскивать блузу и натягивать бахманы на старческие босые ступни, проститься с этой волшебной жизнью. Можно ли было перенести такое жестокое пробуждение? Они завопили, заголосили, ярость, обида, разочарование слепили глаза, выжидали души.

Можно притвориться спокойным, благожелательным, темпераментным — великим притвориться нельзя, присутствие великого человека ощущаешь по ауре, вдруг возникшей. Внезапно чувствуешь холодок истории. Стендаль вспоминает, как в ложу театра вошел незнакомец и все вокруг чудовищно изменилось. Кто-то рядом сказал: «Лорд Байрон!». У Бунина я однажды прочел, как час-полтора он следил за тем, как неподвижно сидел Чехов под крымским солнышком на скамье и думал свою невеселую думу. Показалось, что это превеличание. Можно ли смотреть полтора часа на то, как сидит на скамье твой знакомый?

Но однажды в августе 57-го я приехал к Лобанову в Болшево. Мне сказали, что мой режиссер в лесочке, я пошел искать Андрея Михайловича. И почти сразу его увидел — он сидел на пенке в белой рубашке, белой панамке, в полотняных брюках. Лицо его было хмуро, сумрачно и невыразимо печально. Я не решился его окликнуть, лишь смотрел на него и не думал о том, что это похоже на соглядатайство. Впрочем, этого не было и в помине — просто я не мог оторваться от прекрасного скорбного лица. День был теплый, но осень уже дышала, листва отливала желтой подпалой. Было тихо, и пахло хвоей. Когда я очнулся, то обнаружил, что прошло не менее получаса. Я понимал, что могу еще долго — и час, и два — смотреть на него, любясь им и стараясь постичь и боль его, и его тайну, мучаясь тем, что я бесценен ему помочь и его утешить. И как всегда в его присутствии, я ощущал холодок истории.

Он не показывал своих чувств, но глухо страдал от недоброжелательства. Меж тем оно — спутник таких исполнов. Столько больных чужим здоровьем.

Все зло от зависти — вплоть до фашизма и отечественного черносотенства.

Его идеологи всегда начинают с клятв в любви к своему народу. Всегда утверждают его исключительность. Но примечательно, что на деле они действуют в личинной уверенности, что этот народ ничего не стоит толкнуть на самые пороки действия — на погромы и на убийства. И как совмещается эта уверенность с прославлением народных достоинств? Впрочем, бессмысленно ждать объяснений. Просто они отлично знают, что чем грубей и бесстыдней лезть, тем легче поднять со дна сердца самое низменное и жестокое.

Все их теории едва сшиты, так сказать, на живую нитку. Никакой опоры на опыт, не говоря уже о науке. В сущности, одни заклинания, расчитанные на невежд и придурков. Да и что было делать с простейшей истиной, что Гейне — великий народный поэт. Они ее попросту игнорировали. Герой романа Иозефа Геббельса «Михаэль» заявляет четко и внятно: «Чуждый сброд должен оставить в покое немецкое искусство. Судьба германского искусства — это уж наша, истинных немцев, забота».

Стоит лишь завести речь о своей особости, и дело сделано — ты вступишь на дорогу ненависти. Не ведали

этого чистые люди, когда им впервые явилась мысль, что у Запада есть что, а у нас есть нечто. Если бы могли они знать, что мысль эта — одна из опаснейших, а утешение это — обманчиво.

С какой непреложностью это бахвальство (его предпочтительно называть гордостью) отражается на искусстве. Сразу лишает его жрецов не только нравственного, но даже и эстетического слуха. Когда мой любимец Тютчев узнал, что Александр Аркадьевич Суворов, внук генералиссимуса, отказался приветствовать печально известного Муравьева-вешателя, он разразился такими стихами: «Гуманный внук воинственного деда, Простите нас, наш симпатичный князь, Что русское чести мы людоеда, Мы, русские, Европы не спрося». Куда девалась вся его магия? Господи! Поэт такой мощи — и не чувствовал, как неадекватно, как заурядно он хорхорится!

Однако Толстой еще тогда не раз помнил изречение Джонасона: «Патриотизм — последнее прибежище негодяя». Еще раньше для Шиллера, высокой души, деминута германского духа, истинно национального гения, ныне бранное слово «космополит» было «выше любого дворянского титула».

Впрочем, не все наши современники принимают на веру стыдливый оттенок, который в это слово вложили. Замечательный молодой ученый Гасан Гусейнов недаром пишет: «Тот, в ком космополит победил патриота, уже никогда не станет зверем».

Предвидели ли наши борцы с космополитизмом, что только он дает надежду на выживание? Не отрезали ли апологетов «национального самосознания» Карабах, Сумгаит, Анджан, Очемчира, Ваку, Ош, Кызыл... Продолжение следует? Будут и русские города?

Почти на исходе прошлого века в Парике судили Эмиля Золя. Он вступился за Дрейфуса, еврея, обыкновенного в шпионаже. Но Золя назвал имя другого, весьма титулованного офицера — барьера передал Эстергази. Армия в гневе, милитаристы чувствуют себя обесцененными. В зале — один андрейфусары. Ненависть к Золя беспредельна. Спертый воздух, трудно дышать. И вот, наконец, суд объявляет приговор прославленному писателю: полтора года тюрьмы. Восторг патриотов. Все ликуют, все радостно поздравляют друг друга. Рукопожатия и поцелуи. Дамы припавывают и машут зонтиками. Золя оглаживает всю эту сволочь и усмехается.

Каннибалы. Друзья и близкие его обнимают. Слово найдено. Других не потребовалось. Когда спустя десятилетия лет читаешь каннибальские строки уважаемого математика о злокозненном «малом народе», понимаешь: Золя был точен.

В 1934-м умирал генерал-лейтенант Дрейфус. До Франции уже доносились вести о гитлеровском разиеме. «Боже мой, — вздохнул умирающий, — мои страдания были напрасны». Он не мог тогда знать, что в скором времени падут шесть миллионов его соплеменников и гибель их тоже будет напрасной.

Уэллс придумал себе надгробную надпись: «Будьте вы прокляты! Я предупреждал вас».

Смысл жизни ищут от страха смерти.

Все-таки остается надежда, что зло проигрывает как раз тогда, когда вроде бы совсем побеждает. Оно вдруг становится невыносимо. Даже для себя самого.

Читаю внуку страшную сказку. Он не один раз слышал и знает, что в ней счастливый конец. Поэтому, чтобы я не пугался, он ободряет меня: — Будет лучше.